Война Владимир
Ольга Рогова

Детские рассказы XIX-XX веков



Война Владимир

Детские рассказы XIX-XX веков

«Автор»
2026

Владимир В. В.

Детские рассказы XIX-XX веков / В. В. Владимир — «Автор», 2026

Сборник О. И. Роговой — классика дореволюционной детской литературы, впервые переведённый на современный русский язык. В книгу вошли десять рассказов и повестей, объединённых общим нравственным настроением: доброта, смелость, верность и сострадание побеждают страх, жестокость и несправедливость.Читателя ждут увлекательные сюжеты из разных уголков мира и эпох.Каждый рассказ — это урок милосердия, честности и мужества, поданный через живые, запоминающиеся образы детей-героев. Простой и ясный язык, динамичные сюжеты и благополучные развязки делают книгу доступной для самостоятельного чтения младшими и средними школьниками и идеальной для семейного чтения вслух.Для детей 8–13 лет, их родителей, педагогов и всех, кто ценит добрую классическую литературу. Перевод со старого языка на современный - Война В.В.

© Владимир В. В., 2026
© Автор, 2026

Ольга Рогова, Война Владимир
Детские рассказы XIX-XX веков

Сборник рассказов для детей

Содержание

· Корейка Маша — 4
· Сирота. Колька и Манечка — 14
· Пожар — 17
· Галя — 21
· Си и Ли — 40
· Потерянный клубок — 49
· Две недели в Калькутте — 57
· Русалочка — 77
· Два друга — 85
· Первое горе — 88

КОРЕЙКА МАША

I

Поезд подходил к станции. Паровоз пыхтел и кряхтел, будто сердился, что его останавливают. Станция была маленькая; из пассажиров почти никто не вышел — только две семьи: толстый господин с женой да мальчик и девочка с матерью. Носильщика тут же подхватил господин, а дама с детьми растерянно оглядывалась: другого не было.

— Ну, дети, давайте-ка сами выносить вещи, а то поезд сейчас уйдёт, — сказала она.

Все трое засуетились: корзиночки, тюки с подушками, чемоданы и узелки через несколько минут лежали кучей на платформе. Поезд свистнул и двинулся дальше, а наши путешественники с любопытством оглядывали незнакомую местность.

С одной стороны расстилался залив — часть Восточного океана, с другой высился крутой берег, и наверху китайские рабочие строили вокзал. На платформе, кроме двух-трёх скамеек да будочки для кассира, ничего не было.

Толстого господина ждал тарантас, и он с женой занялся упаковкой вещей.

— А лошадь за нами, кажется, не выслали? — сказала дама.

— Вам куда? — спросил её сторож, стоявший у кассы.

— Мне на заимку Ивановой, да вот, кажется, лошади нет…

— Нет, нет, — подтвердил сторож. — Я Ивановского дворника, Сашку, знаю: он сегодня не приезжал.

— Как же нам быть?

— А уж не иначе, как почтовых взять. Почта тут недалеко, версты полторы будет. Извольте подождать, а я сейчас туда «бойку» пошлю.

Черноглазый, перепачканный бойка живо сбегал за лошадьми, и через полчаса вся семья уже тряслась со своими пожитками по ухабистой дороге.

Сначала дорога шла по берегу залива, где ещё виднелись две-три одинокие заимки, спрятавшиеся в яркой весенней зелени; но потом она круто свернула вправо и потянулась по сплошной тайге. От станции до заимки было шесть вёрст — расстояние небольшое, но в сибирской глуши и шесть вёрст могут показаться за десять.

— Как тут пусто, мама, — сказала девочка, — хоть бы кто-нибудь встретился…

— Кому тут встречаться, барышня? — лениво заметил ямщик. — Заимок мало, рабочий люд у станции толчётся, а с бродягами да хунхузами не дай Бог и встретиться…

— А разве тут есть хунхузы? — спросил мальчик.

— Где их нет! Они вокруг всего Владивостока похаживают; нынче их, сказывают, человек со сто высадилось, вот и шалят…

— Как страшно, мама… — проговорила девочка, прижимаясь к матери.

В эту минуту тарантас поднялся на холм, и между сплошной зеленью показалось несколько фанз с плоскими крышами и белыми глиняными стенами.

— Вот, барыня, и Ивановская заимка, — сказал ямщик.

— Где, где? — засуетились дети.

— А за фанзами-то, в лесочке…

Но будущее их жильё так хорошо спряталось в лесу, что его совсем нельзя было разглядеть; и только у самого поворота, из-за целой группы могучих дубов, выступил наконец хорошенький домик с красной черепичной крышей, белыми стенами и балконом, уже до половины заросшим густой зеленью дикого винограда.

Дети выпрыгнули из тарантаса и побежали вокруг дома по песчаной дорожке сада, отгороженного плетнём от двора. Уголок был просто прелесть. Дом стоял на крутом утёсе над заливом, а по краю утёса росли столетние дубы, липы и лиственницы.

Вокруг балкона громоздились кусты тёмно-малинового махрового шиповника; он наполнял весь сад ароматом. Дальше, между грядками клубники, стояли ульи, и пчёлы весело гудели на солнце. Голубые волны залива тихо журчали у подножия утёса, а вдали рисовался берег, сплошь поросший лесом.

— Мама, мама, как тут хорошо! — закричали дети матери, только что отпустившей ямщика.

— Хорошо-то хорошо, только как мы попадём в комнаты? — отозвалась она со двора. — Дверь заперта, и ни души нигде не видно…

Дети попробовали отпереть дверь с балкона, но она тоже не поддавалась.

На другом краю двора стояла фанза — жильё рабочих. Там, на низких полатях, заменяющих постель, крепко спал черноволосый бородатый кореец. Его очень трудно было разбудить, и он долго ещё зевал, потягивался и протирал глаза.

— Как попасть в дом? — допытывалась у него новая жилица.

— Мадама сюда живи есть? — спрашивал он. — Дома? Сашка дома нету, ключа Сашка возьми. Егора ключа нету…

Оказалось, что дворник уехал во Владивосток и увёз с собой ключ от дачи.

— Да ведь я просила, чтобы мне выслали лошадь и ждали меня…

— Егор говори есть: Сашка, жди. Сашка ключа увез…

— Когда же он придёт?

— Завтра приходи есть… Сегодня нет…

Новые жильцы совсем было приуныли: назад ехать некуда, а ночевать на дворе тоже неудобно.

— Витя, пойдём, попробуем открыть окно на балконе, — догадалась Соня. — Оно, кажется, неплотно прикрыто…

Сказано — сделано. Окно, к счастью, поддалось. Витя влез в комнату и открыл запертую изнутри дверь балкона.

В домике оказались три комнаты с самой простой мебелью: диван с соломенными стульями, три железные кровати, большой четырёхугольный стол и ещё два-три столика поменьше, высокая конторка, зеркальце и старый поломанный письменный стол — вот и всё. За кухней находилась ещё каморка для прислуги, а в сенях — чулан для провизии. Впрочем, недостаток мебели искупался чистотой заново побелённых потолков и стен, массой воздуха и света.

Когда открыли окна в сад, оттуда пахнуло такой чудной весной, что дети ни минуты не усидели в комнатах и опять помчались в сад.

II

Анна Алексеевна Хрулёва, вдова, учительница одной из гимназий Восточной Сибири, приехала провести лето на заимке своей хорошей знакомой, отправившейся в Японию.

Её дети, Витя, десятилетний кадет, и Соня, тринадцатилетняя гимназистка, всего год как приехали с матерью из России на Дальний Восток. Они плохо привыкали к новой родине, всю зиму прихварывали, и Анна Алексеевна была рада увезти их летом на берег моря.

На другое утро явился дворник Александр — горбатое, уродливое существо с огромными руками, коротенькими ножками и непомерно большой головой.

Когда Анна Алексеевна стала выговаривать ему, что он не выехал встречать их на станцию, он пресмешно нагнул голову набок и проговорил:

— А я же почему знал, что вы приедете?

— Да разве тебе твоя барыня не говорила?

— Говорить-то говорила, да я подумал: где же так скоро собраться.

С Егором-корейцем он, по-видимому, был не в ладах: они сейчас же начали о чём-то спорить и браниться, причём кореец пресмешно выкрикивал какие-то горловые птичьи звуки, размахивал руками, тряс головой, а горбун краснел от волнения и старался его перекричать.

Дети ушли в сад и стали прилаживать привезённый с собой гамак. Вдруг из-за толстого дуба показалась смуглая лохматая головка; она сейчас же скрылась, и раздался отчаянный пронзительный рёв.

Дети бросили гамак и побежали к дубу.

Вниз по утёсу ползла чуть не кувырком босоногая маленькая корейка лет пяти, а навстречу ей спешила девочка вдвое её старше; красивое смуглое личико с блестящими чёрными глазами весело улыбалось детям.

— Здравствуй, — проговорила она довольно чисто по-русски.

— Здравствуй, — ответили дети в один голос. — Ты говоришь по-русски?

— Мало-мало…

— Как тебя зовут?

— Мадама, живи тут другое лето, звала Маша. (Барыня, которая жила тут прошлым летом, звала Машей.)

— А по-корейски как твоё имя? — спросил Витя.

— Корейска нет имя: мальчика есть, девочка — нет…

— Разве ты забыл, Витя, что у корейцев женщин никак не зовут? — сказала Соня.

— А чего она закричала? — полюбопытствовал Витя, показывая на маленькую корейку, выглядывавшую из-за сестриной юбки.

— А она боится… — пояснила Маша.

В эту минуту из-за спины её показалась ещё одна лохматая головка. Оказалось, что там, в чём-то вроде мешка, был привязан, как тюк, маленький трёхлетний братишка; он мирно спал, и только крик сестры разбудил его.

— Зачем же ты таскаешь такого большого за спиной? Разве он не может сам ходить? — спросила Соня.

— Он ленивый есть; ходить не любит, плачет… — пояснила Маша.

Она отмотала полотенце, которым был привязан мальчик, и спустила его на землю.

— А его зовут как-нибудь? — допытывался Витя.

— Его имя есть — И-го-не…

Маленький Игоне глубокомысленно сосал палец и посматривал на новых жильцов.

Дети разговорились с Машей и узнали, что в окрестности пять фанз и в них живёт человек до тридцати корейцев. Все они возделывают отведённые им участки, за что получают часть продуктов: чумизу (просо), огурцы, картофель, капусту. Кроме того, ходят работать по сосед-

ству или на станцию, или в город. Мать и отец Маши имеют даже своего работника, а старший брат её служит на другой заимке пастухом.

Девочка рассказала детям ещё, что хозяйка заимки очень хотела увезти её во Владивосток для комнатных услуг, но родители её не пустили.

— Отчего же тебя не пустили? — спросил Витя.

— Нельзя: служить стыдно, рабочий кули служит, он — раб, а мы свободные, — пояснила Маша на своём ломаном наречии. — Меня надо замуж отдать.

— Да ведь это ещё не скоро? — возразила Соня.

— Одна зима пройдёт и другая, а там я пойду с матерью в Корею, в нашу деревню и выберу мужа, приведу с собой, он будет помогать отцу.

Дети слушали с удивлением.

— Вот так невеста, тринадцать лет! — засмеялся Витя. — Так, ведь, и ты, Соня, в невесты годишься!..

Между разговором дети узнали, что, несмотря на начало июня, вода в море уже тёплая и можно купаться.

— Мама, дай нам полотенца, — закричали они, — мы купаться пойдём!

Анна Алексеевна было возразила, что ещё рано начинать, но потом уступила просьбам детей и пустила их с Машей.

Пришлось слезать с утёса по самой крутой тропинке; с непривычки дети каждую минуту скользили, но ловкая Маша в несколько прыжков была внизу. Она живо сбросила с себя коротенькую кофточку, не доходившую до талии, и размотала длинное полотенце, пришитое к поясу. Игоне с маленькою сестрёнкой не раздевались, а бродили в своих рубашонках по колено в воде и ловили маленьких крабов; они брали их живьём, разламывали скорлупу и ели.

— Ведь они сырые? — удивился Витя.

Но дети только смеялись и с аппетитом разгрызали скорлупки. В воде плавали бесформенные, голубоватые медузы. Дети сначала боялись их, но Маша вытащила одну из них помельче на берег, только не руками, а палочкой. Витя и Соня с любопытством рассматривали её щупальца и склизкое тело, похожее на студень. Соня хотела до неё дотронуться, но Маша её остановила.

— Не надо, она жить есть (обожжёт).

Дно моря было чистое, песчаное, вода тёплая, приятная, — дети бы, верно, нескоро вышли из воды, если бы Анна Алексеевна не позвала их завтракать.

Маше и её спутникам тоже дали по чашке чая с молоком и по куску хлеба; они расположились на ступеньках балкона, как дома. Машу всё интересовало: и гамак, которого она никогда не видела, и книги с картинками, и карандаш… Соня нарисовала её портрет и подарила ей свой немудрёный рисунок. Маленькая корейка пришла в такой восторг, что начала плясать по саду с этим подарком и запела что-то очень весёлое на своём гортанном птичьем языке.

III

Тихо и мирно протекала жизнь в одинокой заимке. Дети привыкли к своеобразию этой жизни и не удивлялись больше, когда пастух-кореец доил коров или работник Егор мыл полы на даче, а женщины-корейки сидели в своих фанзах и ни за что не соглашались исполнить какую-либо домашнюю работу. Освоились дети и с окружавшими их дикарями-корейцами. Все это были добродушные, приветливые люди, только ленивые и не особенно услужливые. С виду они напоминали индейцев своими высоко закрученными волосами и смуглыми лицами. Дети в шутку называли их именами майн-ридовских героев: Кровавая Рука, Орлиный Глаз, Следопыт…

Маша целый день не отходила от детей; она быстро научилась говорить по-русски и отлично усваивала всякую новую работу: стала проворно владеть иголкой и сшила себе юбку и кофту из купленного ей Анной Алексеевной ситца; научилась рисовать домики, животных,

птиц, цветы; выучила наизусть несколько стишков и даже стала учиться у детей русской грамоте.

Чуть не каждый день являлась она с каким-нибудь подарком: то притащит огурцов, то ягод, то цветы, положит на балкон, застыдится и убежит.

— Маша, ты любишь нас? — спрашивала Соня.

Маша поднимала на неё свои большие выразительные чёрные глаза и потом стремительно обнимала её, сжимая в своих сильных ручонках.

— Вот, вот, вот как! — говорила она, и глазёнки её горели такой любовью, что и Соня невольно целовала её или гладила по голове.

Соня научила Машу опрятности: она расчёсывала ей волосы и заплетала косу, заставляла мыть руки и лицо, стригла ей ногти…

Так прошло больше месяца. Стояли июльские жары вперемежку с дождями, но такими тёплыми, что после них становилось в воздухе ещё душней.

Дети только что выкупались и сидели в саду.

Вдруг на заливе показалось несколько шаланд, наполненных китайцами. Они что-то пели, шумели, перекликались с корейцами, стоявшими на берегу.

Анна Алексеевна позвала Александра и велела ему узнать, что это за люди. Горбун сбегал на берег и вернулся мрачный.

— Кто их знает, не говорят, корейцы тоже от них толку не добьются. Пожалуй, хунхузы…

Маленькая семья немного встревожилась, но шаланды постояли, постояли да и скрылись за соседним мысом.

Прибежала Маша. Она давно уже обещала показать детям своего «бога» и теперь повела их в лес, в самую чащу.

— Смотрите, не заходите слишком далеко, — с тревогой в голосе сказала им Анна Алексеевна.

— Нет, мама, ведь Маша знает дорогу, — возразили дети.

В глуши, между столетними дубами и кедрами, перепутанными диким виноградом и ползучими растениями, запряталась полянка, а посередине рос старый корявый ветвистый дуб. На его ветвях висели и болтались в воздухе бесчисленные лоскутья — красные, синие, пёстрые, белые, а под ним лежали пучки морской капусты и стояли чашечки с рисом, черепочки с чумизой, бутылочки с водкой. Это и был «бог» корейцев — каждый приносил ему что мог, что имел. Маша бросилась лицом на землю и пролежала так несколько секунд; Витя же, между тем, подошёл к дубу и стал перебирать висевшие на ветвях тряпочки. Маленькая корейка поднялась. Увидев Витю, она в два прыжка была подле него.

— Что ты делаешь? — с испугом закричала она, хватая его за руку. — Нельзя трогать, бог сердитый, беда будет!

Витя засмеялся.

— Какой же это бог? Это тряпки…

— Уйдём, уйдём скорее, — вся дрожа от страха, говорила Маша и потащила за собою Витю. — Теперь беда, бог ой какой сердитый!

Дети ушли, посмеиваясь над Машей, но корейка всё оглядывалась назад и уверяла, что теперь уже быть беде.

Не успели дети отойти шагов пятьдесят от священного дуба, как вдруг совсем близко, у берега залива послышались голоса и шум приближающихся шагов. На заливе показалось несколько шаланд.

Маша юркнула в чащу и увлекла за собою детей. Густой кустарник совсем укрывал их, но сквозь ветви они отлично видели тропинку. По ней один за другим шли теперь от залива в лес человек двадцать китайцев. Свирепые лица, изодранная одежда, ножи за поясами придавали им такой страшный вид, что Соня едва не вскрикнула и схватила Машу за руку.

— Тише, — прошептала корейка, — хунхузы…

Китайцы о чём-то громко разговаривали. Они остановились в нескольких шагах от детей и, видимо, совещались, куда направиться. Наконец старший, невысокий, приземистый китаец с изрытым оспой лицом, махнул рукою в сторону фанз, и скоро все они скрылись из виду.

Дети долго не решались выйти из лесу, но наконец вылезли из своей засады и помчались домой, не переводя духу.

— Мама, мы видели хунхузов! — закричали они матери ещё из сада.

Анна Алексеевна не очень-то им поверила.

— Почему же вы думаете, что это хунхузы? Быть может, просто китайцы-рабочие, ищут заработка…

— Нет, мама, Маша говорит…

— Маша у вас точно оракул, — с неудовольствием заметила Анна Алексеевна. — Садитесь-ка лучше обедать, а то, пока вы там пропадали, у меня и суп простыл.

Дети примолкли, но мысль о хунхузах не выходила у них из головы.

После обеда Витя нашёл Александра, чинившего на дворе сбрую.

— Александр, ты боишься хунхузов?

— Чего мне бояться? Что умирать, что жить, мне всё равно…

— А если они сюда придут…

— Ну, я их попотчую топором: раз, раз, и голова прямо!..

Это была его любимая поговорка, ею он выражал самые разнообразные мысли.

После обеда Александр уехал в город за провизией. Он должен был вернуться только на другой день, и наши дачники оставались совсем одни.

Вечером, когда сильно стемнело, всем стало как-то жутко.

Анна Алексеевна особенно внимательно осмотрела, заперты ли двери, а дети долго перешёптывались, пока заснули…

IV

Между тем в корейской фанзе, где жила Маша со своими отцом и матерью, собралась вся семья. Мать Маши варила на низеньком очаге рис к ужину, отец чинил сеть, работник помогал ему, Маша играла в уголку с какими-то чурбашками-куклами, младшие дети спали на полатях у очага.

Вдруг на дворе послышались голоса, дверь распахнулась, и на пороге появились трое хунхузов.

— Гей, женщина, мы пришли ночевать, — сказал старший из них.

Маша взглянула на него и сейчас же узнала изрытое оспою лицо, мелькнувшее давеча в лесу.

Корейцы в руках хунхузов: они страшно боятся грозных разбойников и не смеют их ослушаться. И мать, и отец низко-низко поклонились, сложив на груди руки.

— Мир вам, — сказал кореец, — мы рады разделить с вами всё, что у нас есть.

Китайцы расположились как дома; они сняли свои изорванные халаты и развесили их у огня посушить, так как на дворе шёл дождь; разулись и поставили к очагу свои туфли на высокой войлочной подошве, вынули из-за поясов палочки-вилки и дружно принялись за рис в чашке и за похлёбку из морской капусты. Всё время они пересмеивались, переглядывались, говорили о каком-то деле сегодня ночью…

Маша в страхе жалась в угол, чтобы только они её не приметили. Когда мать замешкалась и не скоро подала огня старшему, закуривавшему трубку, он грубо толкнул её и проворчал:

— Ну, собака, поворачивайся-ка живей…

Самим хозяевам бесцеремонные гости не оставили ни крошки: Маше очень хотелось есть, но она не смела пошевельнуться и с широко раскрытыми глазами молча, неподвижно

сидела в своём углу. Ей невольно пришло на мысль, что это рассерженный бог мстит за давешнее посещение в лесу.

Наконец ужин окончился.

Китайцы встали, и старший подошёл к отцу Маши.

— Слушай, — сказал он ему, — ты проведёшь нас на заимку и потом, чтобы дух тьмы проглотил тебя, чтобы глаза твои не видели и уши не слышали — понял? а то — голова с плеч…

Кореец задрожал и припал лицом к земле. Он даже не смел ничего ответить. Маша в страхе прижалась к матери; крупные слёзы покатились у неё из глаз.

— Молчи, не плачь, увидят, — шепнула ей мать побелевшими от страха губами.

Маша замерла, но в голове у неё пронеслась мысль о её новых друзьях. Неужели злые хунхузы убьют и добрую мадаму, и Витю, и Соню? И она больше не увидит их живыми!.. Нет, нет, этого не должно быть…

Девочка быстро, неслышно скользнула из рук матери, проползла под полатями и юркнула за спиною отца в полуотворённую дверь.

Мать хотела окликнуть её, но подумала, что, пожалуй, девочке и лучше спрятаться на дворе, а то ещё хунхузы увидят её слёзы. Ей тоже жалко было добрую мадаму и детей, но перечить хунхузам — вещь немыслимая для корейцев…

Страшные гости, между тем, выкурили ещё по трубке, подняли с земли корейца, вытолкали его за дверь и тихо, осторожно пошли за ним по дороге.

Анна Алексеевна только что стала засыпать, как вдруг кто-то тихо стукнул в окно. Она приподняла голову и увидала за стеклом бледное лицо Маши. Сердце у неё сжалось предчувствием чего-то недоброго. Она быстро соскочила с кровати и открыла окно.

— Маша, что ты?

— Ах, мадама, скорей, скорей беги — хунхузы!.. — проговорила девочка, и слёзы ручьём хлынули у неё из глаз.

— Где? Что такое?

— Беги, беги, они сейчас придут, отец должен дорогу им показывать…

Анна Алексеевна в одну секунду сообразила всю опасность.

— Но куда же нам бежать?

— Маша знает дорогу… тут… внизу… — быстро прошептала Маша, показывая на утёс и тропинку к заливу.

Витя и Соня тоже проснулись и, взглянув на мать, поняли, в чём дело. Витя схватил свой финский нож.

— Мама, я не дам тебя убить, — храбро заявил он, одеваясь и не выпуская ножа из рук.

У Сони дрожали руки и ноги, но она тоже накинула капотик и в туфлях на босу ногу выскочила из окна вслед за Витей.

Опасность придала всем силы: в одну минуту все трое, несмотря на темноту и слякоть, сползли по тропинке вниз вслед за Машей и побежали к заливу. Маша молча указала на ноги: все схватили туфли в руки и вошли в воду. Они шли так минут пять по колено в воде, потом Маша юркнула в чащу кустарника, росшего у самого берега, подала руку Соне и знаком показала, чтобы остальные тоже схватились за руки. Так они шли молча, гуськом; ноги их шлёпали по грязи и скользили, платья цеплялись за сучья, в лицо хлестали мокрые ветки, но маленькая корейка и ночью, в темноте, отлично знала знакомые тропинки — через полчаса она вывела их на большую дорогу и тихо спросила у Анны Алексеевны:

— Ну почта ходи?

Анна Алексеевна невольно удивилась её сообразительности: действительно, самое безопасное место была почтовая станция, находившаяся теперь от них верстах в трёх.

— Да, да… — поспешно отвечала она.

Из предосторожности шли не по самой дороге, а подле, в кустах, хотя теперь уже трудно было хунхузам догнать их.

Дети не шли, а бежали, — Анна Алексеевна едва поспевала за ними. Наконец показался вдали фонарь, и через четверть часа вся семья, измокшая, издрогшая, запыхавшаяся, входила на высокое крыльцо.

Станционный писарь спросонку не разобрал, в чём дело.

— Вам лошадей? — спросил он, с трудом протирая глаза. — Лошадей нет… — но в тот же момент, увидав перед собою полуодетых, бледных, задыхавшихся от усталости людей, он живо проснулся и стоял перед ними молча, разинув от удивления рот и вытаращив глаза. Анна Алексеевна в изнеможении опустилась на стул; ей сделалось дурно…

Прибежала жена писаря, принесла воды; с Соней сделалось что-то вроде истерики, она и плакала, и смеялась, и только один Витя, как настоящий мужчина, выказал полное присутствие духа: он то уговаривал Соню, то мочил виски маме, то отвечал на расспросы столпившихся хозяев и ямщиков. Когда наконец всё поуспокоилось, хватились Маши, но её и след простыл.

Когда Маша увидала, что её любимцы спасены, она вдруг сразу поняла, что она сделала: а что если хунхузы отомстят её отцу? Ведь они поймут, что кто-нибудь из семьи их предал…

Сгоряча эта мысль ей не приходила раньше в голову, но теперь она ясно сознавала, что надо скорее бежать назад, домой, сказать всё своим, предупредить их… И она помчалась обратно, по кратчайшему пути, через лес, через болото, скорей, скорей…

V

Тревожная ночь прошла. Настало утро яркое, солнечное, радостное.

К почтовому двору бойко подкатила знакомая детям тележка, запряжённая Серым, и из неё выполз Александр.

Дети выбежали на крыльцо.

— Ага, вот, ведь, так я и думал! — ухмыляясь во весь рот, проговорил Александр. — Думаю: куда же им деться, как не на почту… А оно так и есть…

— Откуда ты, Саша? — спрашивали дети.

— Откуда? Из дому, откуда же?

— А хунхузы?

— Хунхузы-то? Я их: раз, раз, и голова прямо! Один сидит в подполье…

— Как так?

— Да дайте же мне хоть в комнату войти, — отмахнулся он от приступавших к нему детей.

Оказалось, что и горбун поступил по-геройски и спас заимку от разграбления: он вернулся раньше, чем предполагал; Машин отец встретился ему по дороге и рассказал всё. Тогда он тихонько прокрался на заимку и спрятался у окна в кустах: двое хунхузов бегали по саду, искали следов, а третий хозяйничал в комнатах. Александр неслышно влез в окно своей каморки, открыл подполье и притаился под кроватью. Хунхуз вошёл в каморку и полез в подполье. Тогда горбун, как кошка, выпрыгнул из-под кровати и захлопнул подполье, да ещё поверх его надвинул свой тяжёлый сундук. Потом он побежал в спальню, схватил заряженный револьвер, который у Анны Алексеевны всегда лежал на письменном столе, подкараулил бегавших по дорожкам хунхузов и выстрелил в упор в одного из них.

— Кажется, ранил… — закончил он.

— А другой?

— Да оба убежали, только пятки замелькали; они ведь пули не любят. А третий посидит, пока я съезжу на станцию да приведу казаков.

Витя пришёл в восторг от рассказа горбуна.

— Молодец ты, Саша, — сказал он, — вот уж я не думал, что ты такой храбрый!..

— А что мне? — Раз, раз и голова прямо! — Что жить, что умирать!..

В тот же день Анна Алексеевна съездила к губернатору и попросила себе на заимку охрану из казаков. Ей дали троих, да ещё прислали двоих, чтобы взять запертого в подполье хунхуза. С тех пор она могла спать спокойно, но Машина семья сильно боялась мести китайцев; отец её спешно сдал своё хозяйство знакомому корейцу, и вся семья переехала на житьё в другую местность.

Маша трогательно прощалась с детьми.

— Маша, — приезжай к нам на зиму жить, мы тебя учить будем, — уговаривали её дети.

Маша печально улыбалась.

— Нельзя, Маше теперь мать совсем не позволит, отец сердится, говорит, из-за Маши уехать надо.

Увы! Бедная Маша! Родители её даже не поняли её поступка, и ей порядочно досталось за то, что вмешалась не в своё дело. Но сама она не раскаивалась: когда она смотрела на Витю и Соню, живых и здоровых, весёлая улыбка не сходила с её губ; она мысленно повторяла себе:

— Нет, это хорошо, что Маша сделала, очень, очень хорошо…

СИРОТА

КОЛЬКА И МАНЕЧКА

На дворе большого четырёхэтажного дома, в песке и мусоре копался мальчик лет тринадцати. Чёрные, как смоль, волосы кольцами и кудрями спускались на высокий лоб; на худом, бледном, слегка загорелом лице просвечивали синие жилки; большие чёрные глаза то блестели и искрились, то заволакивались задумчивым туманом, то совсем полузакрывались тёмными ресницами; из-под толстых красных губ порой блестел ряд синевато-белых зубов; под тёмной кожей голых рук и ног ясно обозначались крепкие, жилистые мускулы. Мальчика этого звали Колькой; он жил у тётки Марьи и дяди Трофима в подвале, в портерной, и приходился им каким-то дальним родственником. Портерщик с женою считались в околотке людьми достаточными, их собственные дети ходили чисто, носили сапоги, имели зипуны и тулупы. Но о Кольке мало кто в семье заботился, о нём вспоминали только тогда, когда надо было «посидеть» в портерной за прилавком. Носил он обноски хозяйских детей, обуви летом и весною ему совсем не полагалось, а зимою давались рваные валенки с чьих-нибудь ног. Колька бегал в школу за город, версты за две; для этого ему долго пришлось выпрашивать позволение у «дяденьки», который считал ученье баловством и поблажкой. Но всё равно, Кольку пока некуда было деть, и ему разрешили бегать к учителю. Была школа и в городе, ближе, но туда ходили все соседские ребятишки; они смотрели на него свысока, учитель косился на босые ноги и рваную рубаху; Кольке было стыдно, и он охотнее бегал в пригород, где сидели за столами такие же рваные, босоногие мальчишки, как и он сам.

Колька лепил из глины колодец и обломком ножа строгал что-то из палочек. Он часто поглядывал на окна третьего этажа, при всяком шорохе вздрагивал и оборачивался; по-видимому, он кого-то с нетерпением ждал.

Наконец из-за угла дома вышла девочка лет девяти, в чистеньком ситцевом платьице и белом переднике. Она была белокурая, толстенькая, невысокая; красные пухлые щёки с ямочками немного лоснились, пальчики и сгибы на руках точно перетягивались нитками; вздёрнутый носик, быстрые глазки, ротик с пуговку — всё это двигалось, ходило, смеялось; нельзя было уловить минутки, чтобы разглядеть хорошенько это маленькое плутовское личико. Манечка была далеко не хорошенькая девочка, но нельзя было посмотреть на неё и не улыбнуться: её розовым ямочкам на щеках часто доставалось от непрошеных поцелуев. Колька бросил и щепочки, и осколок ножа и вприпрыжку побежал к ней навстречу.

— Манечка, что ты так долго?

— Нельзя было, Колька, я ведь теперь в пансион хожу; приду домой, надо пообедать, переодеться, Киньку накормить. Смотри, какой он стал большой!

Манечка вынула из передника серого котёнка. Дети посмотрели на него, погладили и пустили гулять по двору.

Манечка была дочка какого-то чиновника. Она росла не одна у папы и мамы, но всё в доме её особенно любили, даже старшие дети баловали не меньше самих родителей. С Колькой она познакомилась месяца два тому назад, в начале лета, в то время, когда у портерщиковой кошки родились котята. Их некуда было деть, и Кольке велели утопить их. Он бы, может быть, и утопил, да уж очень жалобно они пищали; Кольке стало их жалко; сидит с ними за углом, у ворот, плачет. Манечка проходила с кухаркой мимо и заметила его. Ей тоже стало жаль котят; она упросила Дарью взять хоть двух.

— Да куда с ними, Манечка? Ведь они маленькие.

— Ничего, Дарьюшка, я сама за ними буду смотреть, а как подрастут, одного оставлю, а другого отдам тёте Лизе; только бы мама позволила.

Котят взяли; последнего же котёнка Колька снёс в чулан, под лестницу, и потихоньку от своих выкормил его. Колька стал видеться с Манечкой каждый день. Каждые после обеда она приходила на двор поиграть с ним, и Кольке казалось, что иначе и быть не может. Без Манечки ему становилось скучно, не по себе; он бродил из угла в угол и не знал, чем заняться.

Дети взялись за руки и расхаживали по двору.

— А что, Манечка, у тебя в школе хорошо?

— Да, ничего; так много-много девочек, и больших, и маленьких… Только я ещё не привыкла, очень долго надо смирно сидеть, всё уроки…

— Ну, так ведь как же? Без уроков нельзя, на то и школа. А вы играете там?

— Играем, только бегать мало приходится, всего час отдыха, надо в пары встать, идти в залу на гимнастику на четверть часа, потом позавтракать, и только уж тогда позволяют играть.

— Ну, известно, у вас школа какая — не то, что у нас; у вас там, небось, всё мадамы обучают, а у нас вот свободно: учитель добрый, сам с нами гулять ходит, сам игры устраивает…

— Перестань ты со своей школой! — смеясь, сказала Манечка. — Что это, право, всё школа да школа… Вот тебе, лови!

Она ударила его слегка по руке и мигом отбежала. Он бросился её ловить, но она увертывалась, как настоящая мышка, со звонким смехом кружилась около него, дразнила, подманивала, а в руки не давалась. Колька запыхался, но наконец с большим трудом догнал-таки её и поймал.

Оба они смеялись.

— Манечка, зачем ты такая… такая… хорошая? — спросил её Колька, заглядывая ей в глаза.

— А разве я хорошая? — смеясь, спросила Манечка.

— Я тебя вот как люблю, вот как, — и Колька стиснул её руки в своих.

— Ай, больно! — вскрикнула Манечка. — И я тебя люблю, Колька… Зачем мы не брат с сестрой? Мы бы вместе жили, всегда были бы вместе…

— Знаешь что, Манечка, — задумчиво сказал Колька, усаживая её подле себя на песке, — знаешь что?.. Назови меня разок не Колькой, а Колей, ну, назови, ну, один раз…

Манечка удивлённо смотрела на него.

— А разве это тебе не всё равно… Ведь все тебя зовут Колькой?..

Колька топнул ногой, и глаза его блеснули.

— Ну, что ж, что все?.. Злые они все, вот что… А ты одна добрая, ты и назови.

— Да зачем тебе? — пристала Манечка.

— Да так, хочется, ну, просто хочется, чтобы тоже… и я хоть раз… по-человечески… не как собака какая-нибудь…

Слёзы брызнули у него из глаз, и он зарыдал.

— Коля, милый, Колюшка, что ты? — испуганно заговорила Манечка. — Ну, Колечка, ну, голубчик мой, ну, перестань, я тебя всегда буду звать Колей, никогда не назову больше Колькой, ну, право, никогда, — утешала она его и старалась вытереть ему слёзы своим передником.

Колька понемногу перестал плакать и сконфуженно смотрел вниз.

— Что ты так, Колюшка, зачем ты так? — спрашивала его Манечка, и, кажется, в первый раз в жизни ямочки пропали у неё на щеках.

Колька никогда не рассказывал ей о своём житье; они бегали, играли, болтали, но всегда о постороннем. Теперь горе вырвалось наружу и полилось, полилось…

— Манечка, кабы ты только знала, как мне тяжело живётся, все-то как люди, у всех, даже у самого последнего деревенского мальчишки есть свой тяцька, своя мамка, всё кто-нибудь да есть, кто приголубит. А я как собака: всяк толкнёт, всяк обругает, ни от кого доброго слова не дождёшься. И поесть дадут обглодки, и надеть нечего — тряпьё старое бросят, и дела-то никому до меня нет: хоть пропади, хоть неделю глаз не показывай, ещё рады…

Манечка слушала с полуоткрытым ротиком, не сводя глаз с Кольки, и ей стало его очень, очень жаль.

— Да разве можно так жить? — спросила она. — Зачем же ты живёшь так?

— Да куда же я денусь? У меня ни тяцьки, ни мамки нету, померли, один родной остался Трофим, куда же я от него пойду? И бьют меня, Манечка, добро бы за что следует били, а то ни за что ни про что… Что я им сделал? Дадут мне дело сбегать куда или посидеть в лавке, я всё исполняю, за что же они меня бьют?

Манечке было до смерти жалко Кольки; она его утешала как могла, ласкалась к нему, вытирала снова выступившие на глазах его слёзы.

— Знаешь что, Колюшка, ты не горюй, я как вырасту большая и выучусь всему, дам тебе много-много денег, сколько сама заработаю, и мы вместе будем жить.

— Нет, Манечка, так не бывает, — грустно прервал Колька. — Ты станешь барышней, тебя всему научат, а меня в ремесло отдадут, там тоже много, сказывают, бить будут, и за волосья таскать, и всячески…

— Так как же быть-то? — спрашивала Манечка.

— Да так, перетерплю, — гордо подняв голову, выпрямился Колька. — Вот кабы мне да подольше в школу походить да выучиться грамоте, так я бы сам в люди вышел.

— Как же так?

— А так: стал бы книжки разные читать, я и теперь читаю, что достану, только трудного не могу; а тогда бы я стал и трудные читать, вот науку сам и произошёл бы.

— А разве можно самому учиться?

— Можно, отчего нельзя? Вот Андрюшка-половой сам читать выучился, даже стихи пишет, таково у него складно выходит, точно в книжке.

Манечка замолчала и задумалась. Колька молча принялся строгать.

— Что ты это строгаешь, Коленька?

— Хочу сделать колодец, чтобы он как настоящий был, чтоб и ведра выточить, и рукав сделать, и столб, вот как я в деревне видел…

— А ты разве умеешь?

— Сумею, я уж третий раз за дело принимаюсь.

— Когда же ты сделаешь?

— А к завтрему, вот увидишь.

В эту минуту Манечку позвали наверх чай пить.

Она простилась с Колькой и просила его непременно к завтрему кончить колодец, потому что ей очень хочется посмотреть, как это всё будет.

— Мы и воды туда нальём?

— И воды…

Манечка запрыгала и забила в ладоши, потом повернулась, обняла Кольку, неожиданно перевернула его, схватила подбежавшего Киньку и пустилась бегом за угол.

Колька долго смотрел ей вслед, потом вздохнул и принялся за строганье: он непременно хотел кончить к завтрашнему, и кончил, — только Манечке не пришлось увидеть его работу.

ПОЖАР

Двенадцатый час ночи. Всё понемногу заснуло: Трофим уже давно запер портерную, в верхних этажах тоже с полчаса как погасли огни, вся улица опустела, сторожа задремали на своих лавках, собаки притихли в своих конурах, городовые тоже присели, кто у домов, кто в сторожках; на всю окрестность спустился первый, крепкий, железный сон… Только в мастерской сапожника, во дворе, мерцает огонёк — верно, он шьёт кому-нибудь на заказ сапоги, может быть, и всю ночь проработает… Но что это? Огонь у него как будто растёт, вот и всё окно озарилось желтовато-красным блеском, широкою полосою осветив двор; вот показался свет и в другом, и в третьем окне, и медленно, тихо, одна за другою выползли из окон огненные змейки. Боже мой, ведь это пожар! Неужели никто не проснётся? Нет, все спят, никто и не чует беды; у сапожника в квартире только и жили, что он сам да глухая старуха кухарка; их обоих давно уже задушило дымом, им больше не увидеть Божьего света…

Уже с полчаса горела вся внутренняя стена дома, а никто из жильцов ещё не проснулся. Наконец добрались страшные огненные языки и до наружного фасада и лизнули раз, другой Трофимову квартиру.

— Батюшки, горим! — выскочил кто-то из окна пивной…

— Горим, горим! — пронеслось по всему дому и охватило всех спавших ужасом. В один момент повскакали с кроватей и в верхних, и в нижних этажах; на лестницах большого дома всё шумело, толкалось, давило друг друга; все старались спасать своё добро: кто нёс шкатулочки, ящички, кто тащил мебель, кто бросал из окон тюфяки, бельё, платье; какой-то барин суетился в толпе и уговаривался с двумя мужиками, которые брались вытащить из второго этажа всю его мебель и доставить куда-то по близости, к его знакомым. Прибыли пожарные, им пришлось пробиваться между толпою. Кого-то задавили, кого-то переехали; крик, давка, стоны, плач — всё сливалось в один общий, ужасный гул, от которого мороз подирал по коже.

Огонь, между тем, разросся, окреп и с треском и шумом делал своё дело: горящие балки разлетались далеко по улице и перекидывались на соседние крыши, шипящие головни то и дело отскакивали на тротуар; всё вокруг накалилось так, что трудно было дышать; удушливый дым застилал всю улицу и ел глаза, но толпа не расходилась, а росла, топталась на одном месте около пожарища и стонала: всякому было жаль своего добра, хотелось хоть что-нибудь спасти.

Трофим давно уже хлопотал около своего скарба со всеми домашними, только Кольки не было видно.

— Куда это мальчишка девался? — говорила портерщица. — Хоть бы подмог в чём, хоть бы у вещей посидел…

— Забежал куда от страху, — равнодушно отвечал Трофим и тревожно переводил глаза с одного сына на другого, как будто желал убедиться, что все они целы… — Небось, не пропадёт, придётся…

Но Колька никуда не забежал, он был тут же, на пожаре… Услышав крики «горим», он выскочил на улицу, и первою его мыслью была Манечка. Где она? Что с нею? Он взглянул на окна третьего этажа: пламя ещё только что добиралось туда, но уже добиралось, ещё минута, две, три — и квартира будет в огне… Скорей, скорей!

Колька побежал было на заднюю лестницу, но вся деревянная пристройка с кухней и лестницею уже обрушилась. Надо было попасть по парадной, и Колька бегом пустился снова на улицу. Вот и лестница: он быстро проюркнул между толпою и пожарными и взбежал по разрушенным ступеням. Вот и дверь, но как туда попасть? Колька стал трясти её изо всей силы;

дверь не поддавалась. Что делать? что делать? Вдруг в голове его мелькнула счастливая мысль: он быстро отворил окно, полез ползком по широкому карнизу и благополучно добрался до окна прихожей. Выбить стекло, влезть в квартиру — было делом одной минуты. В квартире стоял удушливый угар, такой, как бывает в бане, на полке, когда слишком жарко натоплено. Ни в прихожей, ни в гостиной никого не было. Колька мимоходом отворил окно в гостиной и наконец добрался до крайней двери, которая, он знал, вела в детскую. Он отворил… В детской стоял синий угар, он бросился к кроватке: в ней, без дыхания, бледная, лежала Манечка.

Как её могли забыть, как об ней не похлопотали, Колька не мог себе объяснить: может быть, все выскочили с испугу и не могли попасть, может быть, сгорели?.. Но думать было некогда. Колька вышиб окно и крикнул, но окно вело на двор, никого не было, кроме двух-трёх пожарных, и те за дымом и треском не могли ни видеть, ни слышать его. Тогда Колька приподнял Манечку: он спешил, он сам задыхался в дыму и боялся угореть. Манечка оказалась ему под силу. Он огляделся: на стуле лежало аккуратно сложенное платье, а подле, на полу, стояли сапожки; он прихватил всё это, завернул Манечку в простыню, одеяло оказалось слишком тяжело, и медленно пошёл со своею ношею в прихожую. Там стоял теперь такой дым, что Колька едва нащупал дверь и замок. Замок щёлкнул, дверь отворилась, но… Колька отшатнулся в ужасе: лестницы уже не было, она обрушилась вместе с перилами. Колька вернулся, заглянул в одно, другое, третье окно — всюду по стенам извивались огненные языки, всюду пламя обхватывало дом и жгло его в своих горячих тисках. Колька не знал, как быть: один-то он бы как-нибудь спустился по стене, соскочил бы, но с тяжёлою ношею это было невозможно. Он положил Манечку у открытого окна и побежал искать выхода: посмотрел на балкон, отворил дверь в кабинет, в спальню — всё было пусто, ниоткуда нельзя было выбраться. Наконец он вышел из спальни в маленький чуланчик, заглянул в окно и чуть не вскрикнул от радости: стена ещё была цела; она выходила на соседний двор, а у самого окна лепилась водосточная труба.

Нашёл!.. мелькнуло у него в голове, и он бросился к Манечке, которая всё лежала без дыхания, как мёртвая. Он обвязал вокруг неё платье и чулки, ботинки сунул к себе за пазуху, потом схватил со стены два полотенца и крепко привязал Манечку к своим плечам так, как увязывали тюки носильщики на бирже, — крепко будет, — подумал он.

Потом он прошёл к заветному окну, взглянул вниз: никого на соседнем пустыре не было.

— Ну, с Богом!..

Он обхватил обеими руками трубу, вылез из окна и повис в воздухе…

— Вниз не надо глядеть, — думал он, припоминая, как недавно свалился маляр, потому что посмотрел вниз и голова закружилась.

Манечка висела у него за спиною и покачивалась в воздухе, а он медленно, бесстрашно стал перебирать руками и ногами, спускаться всё ниже, ниже; ноги скользили, руки обдирались о ржавое железо, на них выступила кровь, но до того ли? Колька бодро полз книзу, вот он уже у второго этажа, вот у первого, соскочить бы! Да Манечка может перетянуть — разобьёшь её; нет, лучше терпенье, и Колька пополз дальше. Слава Богу! вот и земля.

Осторожно отвязал он Манечку, взял её на руки, как берут детей, и понёс в соседний парк. Там он уложил её под дерево и, глубоко вздохнув, присел подле.

— А что, как она умерла? задохлась от дыма…

Эта мысль в суете не приходила ему в голову, но теперь ему ясно представилось, что она мёртвая, и он даже вскочил с испугу. Он стал щупать её руки, ноги, голову, прислушался: не дышит, холодная… Господи!..

Где-то вблизи плескалась вода. Он пошарил в Манечкином платье и нашёл в кармане носовой платок. Он сбегал к речке, помочил платок и стал примачивать девочке голову; потом вспомнил, что надо растирать, и стал тереть грудь, руки, виски…

Манечка вздохнула и открыла глаза. У Кольки слёзы брызнули от радости.

— Манечка, голубушка, ты жива!.. — обнимал он её.

Манечка ничего не понимала и протирала глаза.

— Что это, Колечка? Где мы? — со страхом озиралась она на деревья.

— Ах, Манечка, пожар у вас, ты чуть не умерла… — говорил Колечка, задыхаясь от волнения.

— Пожар?.. А мама? папа? А няня? А братья? — допрашивала она.

— Ничего я не знаю, никого в квартире кроме тебя не было, я тебя унёс, по трубе спустился…

Манечка стала приходить в себя и припоминать…

— Мама с папой и с братьями уехали вечером к тёте, сказали, что поздно вернутся; они, значит, у тёти были… А вот няня-то с кухаркой…

— Ну, а они, верно, забыли тебя, или струсили, к тёте твоей побежали.

Колька быстро, нервно, задыхаясь, рассказал всё Манечке; она слушала и дрожала, зубы её стучали, руки тряслись…

— Оденься, Манечка, экой ведь я дурак, болтаю тут, а тебе холодно…

Но Манечка от слабости ничего не могла делать, всё у неё из рук валилось; Колька одел её, как маленького ребёнка, принёс ей напиться в горстях, примачивал ей голову и наконец довёл до скамейки; Манечке стало лучше.

Она тихо плакала.

— Колюшка, всё сгорело? — спрашивала она.

— Видно, что всё, ведь некому было и спасать.

— Ах, Колечка, и Кинька, верно, сгорел…

— Ну, может быть, и выскочил, Кинька — кошка, убежит…

— Колюшка, мама-то ведь подумает, что я сгорела… плакать будет.

— Как же с этим быть? Я бы сбегал, да тебя нельзя оставить…

— Я уж как-нибудь пойду с тобой.

Дети поплелись. По дороге Манечка всё ещё расспрашивала Кольку.

— Как же ты меня поднял? Ведь ты сам маленький?

— А что? Ты не смотри, что я худой да тощий, я сильный…

И Колька сжимал свой кулак так, что мускулы натягивались под кожею.

Дошли до пожара. Около полуобрушившегося дома теснилась такая толпа, что нечего было и думать пробраться. Ни папы, ни мамы не было видно. Манечка горько заплакала. Колька утешал её как мог.

— А где твоя тётка живёт? — спросил он.

— Да я хорошенько не знаю, далеко отсюда.

— А близко живёт кто-нибудь?

— Да, близко пансион, куда я хожу.

— Ну, вот, туда я тебя и сведу, а сам отыщу твою маму.

Они пошли. Едва достучались они во втором часу ночи; дворник не хотел их пустить, но Колька объяснил, в чём дело, и их провели по чёрной лестнице в пансион. Там все переполошились, все ухаживали около Манечки, все удивлялись Колькиной храбрости. Кольке стало стыдно.

— Я пойду, Манечка, — сказал он, — теперь тебе хорошо…

Его не хотели пустить, но он объявил, что не успокоится до тех пор, пока не отыщет Манечкину маму.

Поздно вернулись Манечкины папа и мама; дом уже был в огне, они увидели это ещё издалека. Первая мысль их была о Манечке; но ни Манечки, ни няни, ни кухарки никто не видал. Мать совсем обезумела от отчаяния, отец расспрашивал у всех и ни у кого не мог добиться толку. Весь третий этаж был объят пламенем, одна за другою рушились балки…

— Манечка, Манечка! — звала, не помня себя, мать, бегала между толпою, заглядывала в лицо всем встречным девочкам. Манечки не было, Манечка сгорела!

В отчаянии мать прислонилась к какой-то стене, стонала и плакала. Около неё собралась толпа: кто жалел, кто охал, кто советовал, но она никого не слышала, ничего не понимала.

Вдруг сквозь толпу пробился мальчик.

— Манечка жива, не плачьте, — сказал он, тронув несчастную женщину за плечо.

Она вскочила.

— Кто ты? Откуда? Ты знаешь про Манечку? — спрашивала она. — Говори, говори скорей…

— Жива она, в школе своей сидит, ухаживают там за ней… Пойдёмте, я вас сведу.

Толпа молча расступилась, и мать с Колькой прошли.

— Кто этот мальчик? Откуда? Чей? — слышались расспросы.

Но Кольку мало кто знал, а если и знали, то в чаду, ночью, трудно было признать. Пришёл отец, и ему тоже передали слышавшие Кольку, что Манечка жива и теперь в школе. Он пошёл туда.

Можно себе представить, как горячо обнимала мать свою спасённую девочку, можно понять, какою благодарностью забилось её сердце, когда она услышала, как Колька спас Манечку; но где же он? Он исчез, и его нигде не могли отыскать. А Колька забился в тёмный угол соседнего двора и плакал навзрыд, судорожно; ему было и весело, и легко, и хорошо, и больно, больно… Весело потому, что Манечка была жива, спасена; больно потому, что теперь он больше, чем когда-либо, чувствовал себя одиноким: у него ведь не было ни крова, ни отца, ни матери.

ГАЛЯ

I

Неподалёку от нынешнего города Козельска, вёрст в пятидесяти к югу от него, раскинулось по берегам реки Жиздры старинное село, а вокруг него — посады, сёла и деревни. Все эти посады, сёла и деревни принадлежали славному князю Рославу, и хоромы его, обнесённые железным тыном с позолоченными маковками, окружённые широким двором, были известны и старому, и малому, и богатому, и убогому…

Ярко светились окна в непроглядной тьме осенней ночи. Далеко разносились громкие песни храбрых витязей, звон серебряных чаш, гул голосов… Рослав пировал со своей дружиной — потому что был весел, а веселился он оттого, что удалось прогнать злых печенегов: не успели они на этот раз сжечь сёла, разграбить пажити и нивы, увести в плен жён и детей; напали на них храбрые витязи, как орлы, разметали всю орду печенежскую, как стаю воронов: половину положили на месте, а остальных угнали далеко-далеко, в широкие степи…

Большая княжеская гридня выходила окнами на восток; дубовые стены были увешаны дорогими коврами с искусно вытканными цветами и полосками. В глубине, у задней стены, стояло пять или шесть дубовых столов, а по стенам тянулись скамьи, крытые соболями, лисицами да куницами. На полу тоже лежали звериные шкуры — медведи, волки, олени. Промеж окон, на стенах, висели рога оленей, туров, охотничий рог князя в золотой оправе с жемчугами на рукояти, дорогие латы греческой работы, выкованные из чистого серебра, изукрашенные чернью. У другой стены, между входною дверью и развальною печью, в углу красовался большой дубовый поставец с хитрою резьбою, расписанный яркими красками: углы поставца представляли драконовы головы с разинутыми пастями, а подставки — огромные лапы с когтями. В поставце было много посуды: серебряной, позолоченной, деревянной, щеголеватой, расписной; были тут и мисы чистого золота — дорогой подарок греческого друга-вельможи, были и блюда с выточенными на них цветами и плодами, большие и малые чаши в виде змеиных, турьих, медвежьих голов, в виде затейливых цветков с листьями; лежали серебряные и золотые уполовники и ложки разных величин, ножи с замысловатыми рукоятями — было много

всяких диковин, которыми гордился Рослав и любил хвалиться перед заезжими витязями-славянами, не видавшими ничего подобного в своей далёкой северной родине. На особой скамье в переднем углу стояла чаша и кувшин с водой, а над ними, на вбитом в стену оленьем роге, висел расшитый ручник из дорогой камки. У себя в опочивальне Рослав умывался из простой глиняной чашки и утирался грубою домашнею пестрядиною, но перед гостями любил щегольнуть своим богатством: столы покрывались дорогими камчатными скатертями с вытканными цветными узорами.

Далеко за полночь пируют витязи: много раз обходила их круговая чаша Рославова, а чаша эта сделана из черепа печенежского князя, которого сам Рослав положил на месте; она окована в золото и украшена жемчугами, бирюзой, алмазами. Наелись и напились гости досыта: раз десять княжеские отроки обносили их то мёдом, то пивом, то брагою хмельною, то зелёным вином; за один дух выпивали витязи полные ковши, заедали пшеничными калачами и утирали длинные усы и бороды полами расшитых кафтанов. Одно за другим появлялись на столах вкусные, сытные блюда: бараний бок с кашей, гуси жареные, рыба-сомовина отварная, целый вепрь зажаренный, телятина, горох, репа, уха — да мало ли чего ещё, не пересчитать! А там пошли яства сахарные: ягоды, варенья, сиропы, супы сладкие, кисели… Далеко за полночь суетятся в подклетях повара с поварятами, далеко за полночь пируют гости, расходиться не думают, песни поют, друг перед другом величаются, похваляются: кто может налету попасть в самую малую пташку, кто умеет метать стрелы на всём скаку, кто не страшится выйти один на один на медведя, остановить буйного тура за рога, кто посадит сразмаху вепря на рогатину…

— Нет, братья, это всё не диво, на то мы и витязи, чтобы стрелы метать да со зверьём управляться; а вот дочурка моя, дитя малое, скажу я вам, из лука стреляет не хуже доброго богатыря, с веслом управляется, как большая, на бегу всех перегонит, на самое высокое дерево взберётся, без седла на любом коне проскачет…

— Ой ли?.. — загудели гости. — Это твоей покойной Янушки дочка! Что же ты, хозяин, нам такое диво не кажешь? Потешь гостей, позови её, пусть споёт, попляшет, уменьем похвалится…

Хозяин спохватился и немного оторопел.

— Негожее дело, други, дитя теперь спит, что её сон тревожить! В другой раз…

— В другой-то раз долго ждать, — шумели гости. — Выспится после, веди её сюда, мы посмотрим, потешь, уважь нас…

Рослав старался отделаться и поднялся из-за стола, но гости обступили его:

— Видно, ты и впрямь похвастал, видно, у тебя язык мелет, чего не разумеет, — подзадоривали его.

Задели князя за живое.

— Ин быть по-вашему, пойду разбужу и приведу.

Гости притихли в ожидании.

II

На другой стороне терема узкая, крутая лестница вела в светёлку. Светёлка эта окнами выходила в густой плодовый сад, и сочные ветки яблони с румяными яблоками врывались в комнату — стоило только протянуть за ними руку. Гладко отструганный досчатый пол и стены белели при слабом свете ночника, и на них отчётливо вырисовывались дубовые скамьи, крытые мехом куницы, дубовый столик с пёстрою покрышкою из паволоки, две-три скамеечки поменьше, обитые чем-то тёмным, веретено с прялкою у окна, резной поставец в углу и две кровати. На одной кровати побольше, с мягкою периною и большим изголовьем, спала мамка Оксана и сладко храпела на всю опочивальню; на другой, маленькой, точёной, с бронзовыми украшениями, на лебяжьем пуху, под шёлковым пологом, уютно, как птичка в гнёздышке, спала черноокая Галя. Длинные кудри, что змейки, расползлись по атласному покрывалу, смуглые ручки разметались и вздрагивали во сне; она улыбалась — хороший сон видела…

Тихо вошёл в светёлку Рослав, подошёл к пологу, отодвинул его бережно и с минуту полюбовался спящей девочкой.

— Жалко будить! — пробормотал он. — И ведь нужно же было мне проговориться…

Он тихо нагнулся и провёл рукою по шелковистым кудрям.

— Галя, а Галя?

Девочка полураскрыла глаза и обвила руками голову отца.

— Тятя, тятя, какой я сон видела!

— Встань, Галя, пойдём к гостям, хотят тебя видеть.

Девочка приподнялась на локте и широко открыла глаза.

— Куда пойдём? К каким гостям? Не хочу гостей.

— Глупенькая, тебя мои витязи видеть хотят, чтобы ты им твои песни спела, сплясала, потешила. Вставай скорее.

У Гали брови сдвинулись, сон прошёл, большие глаза сердито сверкнули…

— Не хочу гостей, не пойду, спать хочу.

— Да нельзя же, дочка, я им слово дал, что приведу тебя…

Но Галя совсем не знала, что значит «нельзя».

— Не пойду, не хочу, спать хочу… — повторяла она и оттолкнула руку отца.

Рослав выпрямился.

— Так-то ты меня любишь? Ну, дочка, смотри, насильно неволить не стану… только… — голос его дрогнул, — если уж этого ты для меня сделать не хочешь, так и не стоишь ты моей любви.

Девочка вскочила с кровати и поспешно стала одеваться.

— Тятя, милый тятя, и плясать, и петь буду, всё, что хочешь, только не смотри на меня так… Вот сейчас оденусь, добрый тятя… Ну, посмотри на меня, ну, поцелуй скорей, — и она тормошила его, вскочила на лавку, взобралась к нему на плечи — где же тут было хмуриться!

Рослав, которого как огня боялись печенеги, Рослав, перед которым дрожали рабы и воины, в минуту смирил гнев под этими маленькими змейками-ручками, подхватил своё сокровище на могучие руки и понёс в гридню.

Бойко окинула девочка быстрым взглядом чёрных очей и витязей, и яркий свет факелов в светильниках, и яства сахарные. Сна как и не бывало. Гале казалось на вид лет тринадцать, но было годами двумя меньше: высокая, худощавая, сильная, со здоровым румянцем во всю щёку и большими смелыми огненными глазами, Галя была что картинка — смотришь, не налюбуешься… Гусляр, который сидел на задней лавке у окна, повёл по струнам, Галя ловко закинула полузастёгнутые рукава своей длинной шёлковой рубахи за плечи, оправила золотые запястья на руках, тряхнула кудрями так, что котелки на серьгах зазвенели, подбоченилась и мерно, в такт, заходила по гридне белой лебедушкой.

По улице по широкой,
По мураве по зелёной
Тут шла девка семилетка;
За девкою сын купецкий:
«Постой, девка семилетка!
Загадаю три загадки,
Чтоб ты, девка семилетка,
Отгадала и сказала:
Да что растёт без коренья?
Да что цветёт да без цвета,
Да что шумит да без ветра?»
А я, девка семилетка,
Отгадала и сказала:

«Растёт камень без коренья,
Цветёт сосна без алого цвета,
Шумит вода без буйна ветра».

— Ай да Галя! Ай да молодец! — хвалили витязи, когда девочка, вся раскрасневшаяся, остановилась посреди пляски и бегом бросилась к отцу, застыдилась, спряталась в широких складках его богатого алого суконного мятеля, а сама исподтишка лукаво выглядывала из-под рукава: понравились ли её пляска и песни гостям?

— Ну, Галя, — приказал ей отец, — полно прятаться, возьми-ка лук да пусти стрелу.

Отрок уже держал наготове её лук в золотой оправе с выточенными из слоновой кости фигурами.

Галя ловко натянула тетиву, прицелилась в глаз висевшего на стене вепря и спустила стрелу… Общий крик удивления пронёсся между витязями: стрела засела в черневшем отверстии.

— Ай да Галя! Вот так ловко! — послышалось отовсюду.

Девочкины глаза блестели от удовольствия: она чинно, как большая, обошла всех с поклоном и ковшом зелена вина; каждый витязь отпивал глоток и кланялся ей на угощении, некоторые дарили ей: кто монету земли греческой, кто ладанку от лихого глаза, кто камень самоцветный, кто бусы…

— Избалуете вы мне девочку, — говорил Рослав с улыбкою. — Пора тебе спать, Галя; не осудите, витязи, на её глупом разуме, коли не угодила чем…

Галя низко поклонилась витязям и, при общих похвалах, румяная, как маков цвет, убежала в светёлку.

III

На другое утро Галя встала позже обыкновенного и вышла на крыльцо. Мамка её, старая Оксана, пошла за свежею водою к колодцу, девушки-рабыни разбрелись кто куда; девочка стояла одна и задумчиво глядела на высокие хоромы с широким двором. Плоская крыша крыльца поддерживалась четырьмя точёными колонками; вся она изукрашена была разною работою с замысловатыми петушками, коньками, цветами и ветками. Такая же резная работа украшала перила, полукруглые верхи окон с колонками, крышу двухэтажного терема и верхнюю галерею, которая приходилась над крыльцом. С этой галереи вела вниз узенькая лесенка, едва заметно лепившаяся по стенке терема. На колонках, на крыше, над окнами — всюду виднелась позолота, перемешанная с красным, синим, зелёным и белым цветами. В подклети, врытой в землю, помещались погреба глубокие с заморскими винами и яствами сахарными, кухни, чуланы и другие угодья… Прямо против крыльца высились одноэтажные одрины с помещениями для заезжих гостей, а вправо тянулись всякие службы: хлева, конюшни, сараи, клети…

Галя осматривала все эти давно знакомые ей предметы, лениво потягивалась, подманивала ручного голубя, смотрела, как он взвивался к небу, плавно описывая круги над её головою, и улыбалась, когда он садился к ней на плечо.

На Гале надета длинная рубаха из сурового домашнего холста с косым воротом и длинными рукавами; поверх рубахи она накинула шугай атласный, потому что утро свежее, августовское. На босых ногах — туфельки червлёные, греческие; рубаха опоясана дорогим поясом с жемчугами и пестрыми каменьями; с этим поясом Галя никогда не расстаётся — это память её умершей матери, Янушки…

— Что это мамка так долго? — думает Галя. — Не пойти ли в борок? Чай, грибов с утра много-много…

Галя быстро сбежала с крыльца и скрылась в борочке.

Как свежо, как зелено! Сколько разных букашек… Галя быстро перепрыгивала с кочки на кочку, туфли мешали, она сняла их и засунула за пояс; то-то весело! Ноги так и тонут в

сыром мху, немножко холодно, но Галя прыгает дальше и греется. На ходу затянула лихую песенку, там гриб подхватила, тут ягодку сорвала — раздолье!

А вот за ручьём и настоящий старый бор. Ух! как там темно, густо, жутко! Что-то там? Заглянуть разве? Не велела мамка ходить: там зверьё, говорит, всякое, там оборотни, там русалки… Как бы посмотреть-то хотелось? Галя остановилась перед ручьём и нерешительно общипывала ветку орешника, исподлобья посматривая на тёмную чащу.

— Не велела мамка, не велела, — повторяла она в раздумье, и потом вдруг сразу решила: — А я всё-таки пойду… — и быстро перескочила через ручей.

— Хватится меня старая, — думала она. — Ну, поищет часок, не беда, я ведь скоро, вот только чуточку пройду, погляжу, что там за этою тропочкою.

Галя бы и вернулась, да больно хорошо показалось в тёмном лесу: большие толстые деревья, двум человекам не обхватить, мох мягкий, сочный, кустарник такой, что едва пробраться, а это-то и любо — пробираться сквозь чащу, а там полянка…

— Вот сейчас вернусь, — думает девочка, — только взгляну, что там дальше.

Но и дальше всё то же: всё столетние деревья, всё сочный мох…

— Пора и домой, — подумала Галя и воротилась. Долго пробиралась она и вправо, и влево, и прямо, а всё нет ручейка. Шла, шла, даже ноги стали подкашиваться, а всё чаща, пропала и тропинка, не видно и полянок.

— Заблудилась! — подумала она и присела. Она не испугалась, только странно ей как-то стало. Куда идти? И есть-то хочется, и много времени прошло.

— Дома, чай, хватились; тятя-то уехал, а то бы он меня живо разыскал. Мамка, чай, плачет.

Галя опять побродила и взад, и вперёд; ничего, кроме чащи.

— Вдруг из-за дерева медведь выскочит, или тур, или вепрь, — думалось ей, и она озиралась; но в лесу было тихо, только листья шумели да копошились во мху букашки.

— Нет, звери теперь в чащу ушли, вот зимой…

Она опять пошла и на этот раз вышла на широкую полянку. Под деревом сидела девочка лет десяти, бледная, совсем прозрачная, с голубыми глазами. Девочка заплетала длинные густые волосы в косу, а на коленях у неё лежал венок из зелени и лесных цветочков.

— Русалка, — подумала Галя и остановилась в испуге; но и бледная девочка, по-видимому, испугалась не меньше её: она бросила венок, вскочила и пустилась бежать по поляне. Испуг Гали мигом прошёл.

«Какая же это русалка, если бежит от меня?» — подумала она, побежала за нею и закричала:

— Эй, девочка, куда ты? Погоди меня…

Девочка приостановилась и испуганно оглядывала Галю.

— Я заблудилась, покажи мне дорогу, — говорила та. — Ты знаешь, я ведь тебя испугалась было, думала, что ты русалка, — весело болтала она дальше, — а как ты побежала, я и вижу, что ты тоже девочка. А ты тоже испугалась?

— Нет, я ничего не боюсь, — отвечала девочка тихо и ласково, — только отец мне не велит ни с кем говорить.

— Отчего?

— Так, он боится, что нашу землянку разыщут. Я тебя сведу к нам, только ты никому про нас не говори, а то нам будет худо…

— Отчего худо?

— Не знаю, отец так говорит…

Девочки замолкли и шли между кустарником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.